

«На фронте были свои достоинства, какая-то раскованность, возможность сказать правду в лицо, себя проявить, было какое-то братство»

9 Мая Булату Окуджаве исполнился бы 81 год

День Победы мы празднуем в его день рождения. Это случайно.

Война присутствовала в его жизни, а потом в прозе и стихах. Это закономерно.

Тихо, сердечно, без пафоса, с юмором и талантом он нам пропел свою и наши жизни. Он нам предлагал решения, которые были слишком хороши для ожесточенного людьми времени.

Я очень люблю Булату Шалвовича. К счастью, не один. Когда он прощался с нами в Театре им. Вахтангова, я поставил видеокамеру и в течение многих часов снимал людей, которые пришли к нему. Они шли бесконечной чередой, на мгновение останавливаясь у гроба и навсегда оставаясь на пленке.

Эти люди: пожилые, средних лет и вовсе пацаны — разные совсем — всеяли надежду. У них у всех были хорошие лица. У военных, у штатских, у женщин и мужчин. Было не очень много цветов, потому что большинство приходили с одной розой или гвоздикой, но это ниче-

го... Цветы были знаком любви, как взгляд неподдельной печали. Он нас оставил одних. Но он был.

В ту пору все вспоминали об Окуджаве, печатали воспоминания и приводили его слова для последнего свидания с читателем. Их было немного — он не очень любил давать интервью, и, кажется, они все напечатаны.

То, что мы предлагаем вам, — разговор на кухне у Окуджавы в Безбожном переулке. О его жизни и о войне. Не знаю, почему я не напечатал текст раньше. Вероятно, в нем было больше доверительности, чем требовала газета. Да и той ностальгии в нем необходимой не наблюдалось. Он говорил — я слушал, не навязывая темы. Слава богу. Тогда мы были вдвоем, сейчас присоединились вы. Давайте нальем по рюмочке за него и за Победу и послушаем.

Юрий РОСТ

Война Булату

Я родился в 24-м году, 9 мая, у Граурмана, на Арбате. Первая моя квартира — дом 43. Квартира на 4-м этаже, средних размеров по коммунальным масштабам, пять соседей. Раньше это была квартира фабриканта Каневского, нэпмана. После нэпа он был директором своей же фабрички. А потом уехал во Францию с семьей.

В семье у него была дочка Жоржетта. Старше меня на год, моя подружка.

Уезжать она не хотела. Была пионеркой яростной. Но ее отправили к родителям, а оттуда Жоржетта написала, как там ей замечательно и с каким ужасом вспоминает она эту коммунальную квартиру.

Отец мой был прислан в Комкаледию из Грузии учиться. И на Арбате ему дали две маленькие комнатки в той коммуналке. И мать жила с нами. После моего рождения отца отправили обратно на Кавказ. Он продолжал работать комиссаром грузинской дивизии. А мама работала в аппарате горкома партии здесь.

А потом пришло время мне учиться. И меня отправили в Тбилиси, где я поступил в первый класс. Не в самом начале года, а в середине года как-то. У мамы была сестра в Тбилиси, это моя вторая мать, которая, по существу, со мной всегда возилась. Я ее даже до четырех лет называл мамой. И я учился там в первом классе частично. Это был такой странный первый класс, где были экзамены по-русски. На экзамене каждому давали табличку, на табличке был нарисован лабиринт. В центре лабиринта — колбаса, а снаружи — мышка, нужно было найти кратчайший путь до колбасы. О Пушкине мы не слышали ничего, Пушкин не существовал. Лермонтов не существовал, Толстой не существовал. Все они были помещиками.

Потом отец работал уже секретарем Тбилисского горкома партии. У него были неладки с Берия очень серьезные. И дошло до того, что отец мой поехал в Крым, к Сергею Орджоникидзе, и попросил направить его на работу в Россию, потому что в Грузии он работать не мог. И Сергей отправил его на Урал. Парторгом ЦК на вновь строящийся в первой или второй пятилетке вагоностроительный завод.

Вот в 32-м году отец отправился на Урал, там еще были дикая тайга и несколько барачков, а потом выписал и нас. Я жил там, учился до ареста отца. До февраля 37-го года.

Мы вернулись в Москву. Опять в эти же две комнаты. Мать, конечно, исключили из партии тут же. Она устроилась кассиром в какую-то артель. И занималась тем, что в свободное время бегала, добивалась приема у Берия, чтобы сказать ему: ты же знал его по работе, он не может быть троцкистом или английским шпионом. Она добивалась, добивалась до тех пор, пока не пришли однажды ночью и не забрали ее тоже.

Я остался с бабушкой. В это время был уже брат. Он родился в 34-м году. Ему в 37-м году было три года. Мы очень боялись, что нас возьмут в какой-то спецдом, но нас не взяли. Жили мы впроголодь. Страшно совершенно. Я продолжал учиться в школе в Юрловском, на Арбате, которую сейчас снесли (69-я школа). Учился плохо. Курить начал, пить, девки появились. Московский двор, матери нет, одна бабушка в отчаянии. Я стал

дома деньги подворовывать на папиросы. Связался с блатными какими-то. Как я помню, у меня образцом человека молодого был московско-арбатский жулик, блатной. Сапоги в гармошку, тельняшка, пиджачок, фуражечка, челочка и фикса золотая.

Кончилось тем, что бросил школу и пошел на завод точной механики. Он назывался очень звучно. Это была мастерская по ремонту пишущих машинок.

— А что представлял собой Арбат?

— Арбат? Я Арбат познавать стал сейчас по-настоящему. Потому что тогда это была моя улица, никто о ней не говорил, как сейчас. Она была в ряду других улиц, обычная улица. Единственная привилегия, которая у нее была, — она была правительственной трассой, поэтому на ней было море топтунов всяких. И переодетых, и в форме — улица с особым режимом.

— Потому что на близкую дачу Сталин ездил?

— На близкую дачу в Дорогомилово.

— Вы ощущали себя сыном врагов народа?

— Я испытывал это на себе ежечасно, во всех смыслах. Но я считал, что это ошибка. Я был очень политический мальчик. И я знал, что мои родители такие коммунисты, каких не бывает вообще в природе. Произошла ошибка какая-то. И когда это до Сталина дойдет, он все исправит.

— На что же вы жили?

— Нищенский быт. Бабушка как вдова слесаря получала 34 рубля пенсии. И тетка из Тбилиси, сестра матери, присылала.

Она уехала из Тбилиси в Воронцовку, крупное село очень, где устроилась учительницей в школе. И зарабатывала, чтобы нам помогать.

— Воронцовка в Грузии?

— Да. Там русские села были. Богдановки и Воронцовки.

Потом, в конце 40-го года, тетка решила меня отсюда взять. Потому что я совсем отбилась от рук, учиться не хотел, работать не хотел. Я приехал в Тбилиси перед самой войной. Стал учиться — неважно сначала, потом все лучше и лучше.

— А как с грузинским языком?

— Я в русской школе был. Грузинских школ было с десятком. В русских школах учились русские, армяне, евреи. Некоторые грузины учились в русских школах. Потом пришла война, но мне еще рано было уходить. Я, конечно, начал бомбардировать военкомат. С приятелями мы требовали, чтобы нас забрали в армию. Мы охаживали капитана Качарова. Он сначала орал на нас, топал ногами, потом привык и, чтобы отвлечься, поручил повестки разносить. Мы ходили по дворам. Нас били за эти повестки, бывало. Горесть приносили.

— Это какой район?

— Тогда он назывался район Берия. Самый центральный, там, где консерватория, где оперный театр, проспект Руставели, улица Грибоедова. Очень хороший район. Я учился в 101-й школе. Это знаменитая школа у базара. Школа шапаны и хороших учеников. Все были страшная шапана и в то же время хорошие ученики.

Потом я ушел из школы. Работал на заводе учеником токаря, занимался ровировкой стволов огнестрельного оружия. Что такое ровировка, до сих пор не знаю. Что-то тяжелое мы делали изо дня в день, из ночи в ночь, по 14—16 часов безвы-

лазно. А я все ходил в военкомат, надоедал. Наконец этот Качаров не выдержал и сказал: вот вам повестки. Мы сели и сами себе их написали.

— Сколько вам было?

— 17 лет. Тетка моя впопыхах, сказала, что пойдет в военкомат, что все перевернет там, что это безобразие. Я ей сказал, что, если она пойдет в военкомат, я убежу из дома.

Мы с моим другом Юрием Попеняцем получили направление в 10-й Отдельный запасной минометный дивизион. В Кахетии он располагался.

Это был апрель 42-го года. Мы ходили в своем домашнем, присяги не принимали, потому что формы не было. А потом нам выдали шапки альпийских стрелков, и мы, обносившиеся, босиком, в этих альпийских широкополых шляпах, запева и ударяя босыми ногами в грязь, ходили строем.

Жили мы в палатках. Постепенно подходило дело к осени. Вино начали гнать. Солдат угощали. Мы воровали. Все было.

А потом в один прекрасный день осенний нас передислоцировали в Азербайджан. Там мы жили немножко, мечтая попасть на фронт. Потому что здесь кормили плохо, а все рассказывали, что на фронте кормят лучше. Там фронтная пайка, там не нужно козырять, там своя жизнь. Фронт был волевым счастьем. Все мечтали об этом.

Однажды нас вдруг поднали. Повезли в баню и пос-

ле помывки выдали новую форму.

Привезли нас, чистеньких, в Дом офицеров в Тбилиси.

А мой дом, где тетка живет, находился рядом с Домом офицеров. На улице Грибоедова.

Начался митинг многочасовой. Художественная самодеятельность. И я смылся домой. Меня быстренько чайком напоили домашним. И я сказал, что, по всей вероятности, отправят на фронт.

Но повезло: не на фронт, а под Тбилиси, в какой-то военный городок за колючей проволокой. Там мы изучали искусство пользования ручной гранатой. Раздали гранаты и предупредили, что если сунуть неудачно капсулу внутрь, то тут же взрыв, и все. Гранаты заставляли на пояс прицепить, капсулы отделять, и с этим добром велели лечь спать. Мы ложились медленно, стараясь не дышать. Ночь была страшная. Полный ужас.

Утром смотрим: стоят новенькие американские «студебекеры», наши минометы прицеплены к ним. По машинам! Скорее, скорее. Эше-

лоны стоят. Погрузка. Начинаем грузить каждый свой миномет.

Начинаем грузиться, думаю: как же своим сообщить? И вижу: на станции стоит в гражданском какой-то мужчина, грузин. Солдатный. Я подбегаю к нему и говорю: «Вы знаете, вот сейчас на фронт отправляют неожиданно, у меня тетя здесь. Я вам дам телефон, вы ей позвоните, скажите, что вы видели меня, что я жив и здоров, что меня отправляют на фронт».

— О родителях вы ничего не знали?

— Нет, конечно. И начались наши фронтные скитания.

Это была Отдельная минометная батарея, которая придавалась разным частям. Вот мы едем-едем, нас должны придать такому-то полку. Приезжаем, оказывается, там уже батарея есть. Потом несколько дней ждем, потом нас отправляют в другое место. Опять эшелон, опять придают какому-то полку. Придали, оказывается, у нас нет довольствия. Все жрут, а нам есть нечего. Что делать? И командир нам как-то говорит,

что надо самим еду доставать. Мы по парам разделились и пошли по разным кубанским селам просить милостыню. Кто что давал, все в общий мешок приносили. В казарме все это раскладывали на одинаковые кучки. Потом один отворачивался: «Кому?». — «Тому». Так раздавали. И командиры питались, и мы.

Потом попали на фронт. Где меня ранило весьма прозаически. Из крупнокалиберного пулемета, с самолета. «Рама» летала и постреливала. Случайно какая-то пуля раздробила кость и застряла в бедре. Я долго ее потом носил на веревочке...

— Вы так и не успели повоевать толком?

— Нет. Месяца полтора. Я вообще в чистом виде на фронте очень мало воевал. В основном скитался из части в часть. А потом — запасной полк, там мариновали. Но запасной полк — это просто лагерь. Кормили бурдой какой-то. Заставляли работать. Жутко было. Там уже содержались бывшие фронтовики, которые были доставлены с фронта. Они ненавидели это все.

Осенью 43-го года — опять баня, опять новая

одежда. Эшелон. И повезли. Слух пошел, что под Новороссийск нас везут. По пути шел грабеж полей, к тому же к поезду выходили крестьяне. Со жратвой.

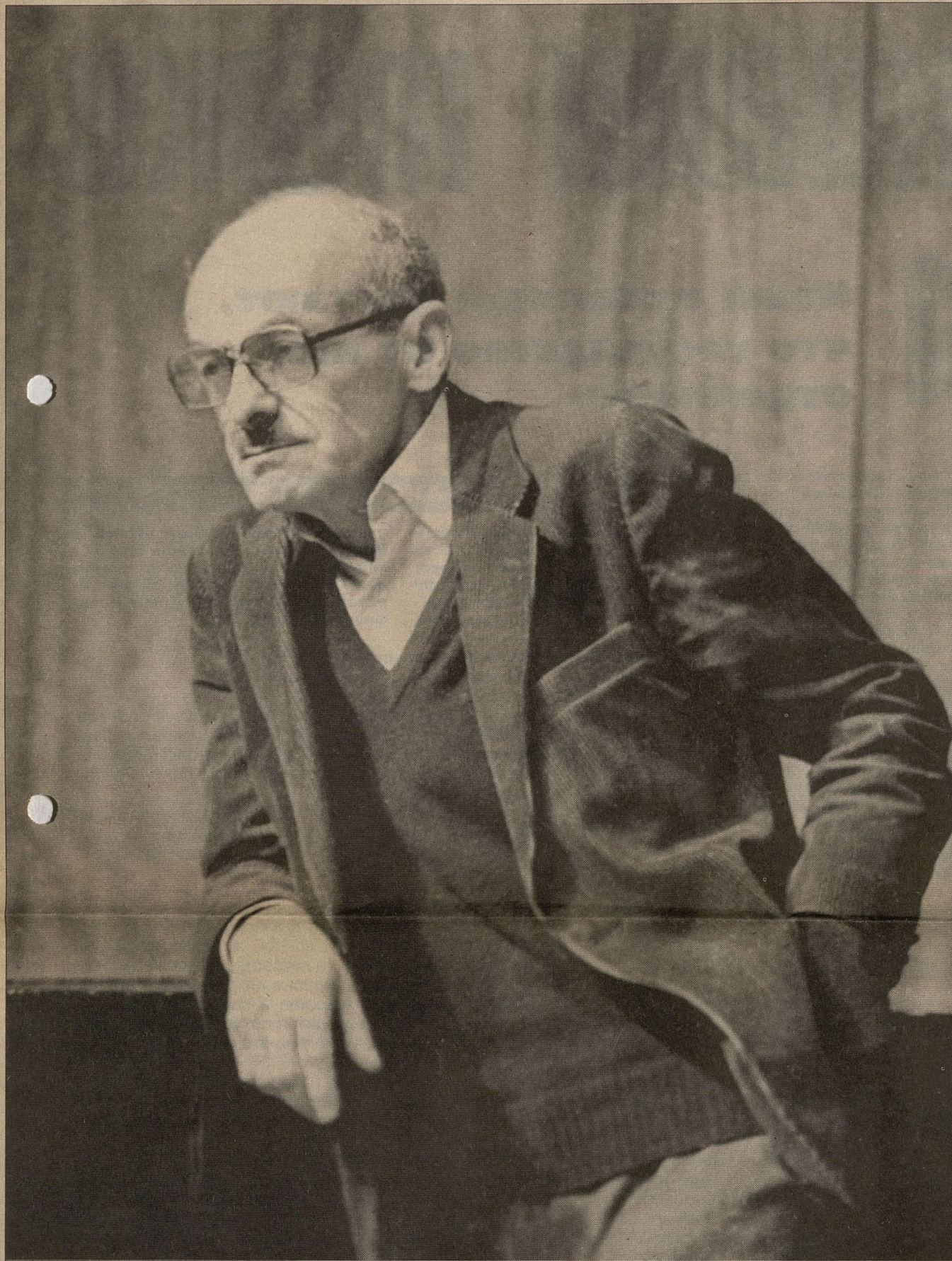
— Меняться?

— Все меняли. Мы им американские ботинки рыжие, они взамен тоже ботинки, но разбитые, и еще в придачу кусок хлеба и сала кусок.

Поэтому мы приехали к месту назначения грязные, рваные, похожие на обезьян, спившиеся. И командиры, и солдаты. И нас велели отправить в Батуми, в какую-то воинскую часть, приводить в чувство. Там казармы, на полу солома, прямо на соломе мы спали. Ничего не делали. Я запомнил только то, что повели нас на экскурсию: почему-то дачу Берия смотреть. Роскошный белый дом на холме. Разрешили через окна посмотреть убранство. Роскошная столовая, громадная, барская. А товарищи мои были в прошлом профессиональные жулики. Очень добрые ребята.

Они там побегали по даче, разнюхали. Мы пришли, лег-

Окуджаву будят



Юрий РОСТ

ли спать. Ночью я проснулся — их нет. К утру в казарму пришли какие-то люди, и ребят арестовали. Выяснилось, что ночью они все столовое серебро в скатерть — и унесли. Ночью же отнесли в скупку. Их вывели. Мы обсуждаем, что им грозит? Расстрел? Нас торопят, в маршевую роту скорее-скорее, под Новороссийск. Поэтому нас толком даже не успели переложить, а этих выпустили, потому что все равно на фронт. Они пришли, смеются.

А нас погрузили на баржу и повезли под Новороссийск. У нас почему-то много вина всякого: пьем и пьем, пьем и пьем. Потом стали слышать уже выстрелы. Потом долго стояли, нас не выпускали. Однажды ранним утром нас построили на палубе. Пришел какой-то фронтовой начальник. Он посмотрел на нас и ушел. Мы еще день простояли, и нас отправили обратно. В таком виде не принимают.

Меня вновь отправили в запасной полк, где я опять мучился, пока не пришли вербовщики. Выбирать. Я уже на фронте побывал, я уже зем-

лянки порыл, я уже наелся всем этим. Я стараюсь сачковать, куда-нибудь полегче.

— То есть романтизм, с которым вы рвались на фронт, уже весь был разрушен?

— Никакого романтизма. Пожрать, поспать и ничего не делать — это главное.

Один офицер набирает в артиллерию большой мощности, резерв Главного командования. Стоит где-то в Закавказье, в горах. Не воевала с первого дня. И не предполагается, что будет воевать. Подумал: что там-то может быть трудного? Снаряды подносить — эта работа мне не страшна. А что еще? Думаю: такая лафа. И я завербовался.

Большинство ребят на фронт рвались. Потому что там жратва лучше была. И вообще повольнее было. Если не убьют, значит, хорошо. А я пошел в эту часть...

Нас повезли высоко в Нагорный Карабах, там, в Степанакерте, располагалось то ли Кубанское, то ли Саратовское пехотное училище. И меня переклассифицировали в него курсантом. Я посчитал: через полгода буду младшим лейтенантом, хромовые сапожки... Там никто ни-

чего не спрашивал, а у меня к тому же высокое девятиклассное образование.

Зачислили меня, и началась муштра невыносимая. Такая муштра началась, что не дай бог. Полгода ждаль — умру. Я человек нетерпеливый. Месяца три промучился. Иду к замполиту, разрешите доложить: так, мол, и так, отец мой арестован, враг народа. Он говорит, сын за отца не отвечает. Я говорю, я знаю все, но на всякий случай, чтобы вы не сказали, что я скрыл. Молодцом, говорит, правильно сделали. Идите, работайте спокойно. И я с горьким сердцем пошел работать спокойно. На следующее утро построение после завтрака. «Окуджава, Филимонов, Семенов, выйти из строя, остальным — направо, на занятия шагом марш!». И все пошли. А нам — продаттестаты и назначение в артиллерийскую часть, из которой меня переманили. И я с легким сердцем поехал сам за себя отвечать. Приехал туда, в горы. В дилом месте расположены эти гаубицы, там все озверели от муштры и безделья. И заня-

тия там такие: если с гаубицей — тогда нормально, но когда, не дай бог, выезды ночные — это кошмар. Ночью по тревоге вся эта громадина, весь этот полк со всеми своими гаубицами, приспособлениями идет на специальное место, и там начинают по всем правилам устава устанавливать эти гаубицы. Их надо погрузить в землю независимо от грунта. И все роют, все роют и роют. Всю войну я рыл...

Ковырялся я там, пока у меня не открылась рана. Отправили в госпиталь, а потом дали отпуск по ранению на три месяца, и я поехал в Тбилиси. Стал на учет и, чтобы не тратить времени, пошел в свою же школу и экстерном стал сдавать 10-й класс. И сдал.

— Требования для фронтовиков были другие?

— Никаких: что хочешь говори, фронтовик наш. Булат пришел! Мне поставили тройки и дали аттестат, а тут кончилась война. Кончилась война, и, как все, иду в Политехнический институт, хотя в математике не смыслил абсолютно. Без всяких экза-

нов — как фронтовик, инвалид второй группы. Становлюсь студентом, получаю стипендию как фронтовик, ничего не понимаю и полгода там трачу, а потом соображаю, что это не мое. Быстро переадресовываюсь...

— Многие на войне чувствовали, что они необходимы. Позже они вспоминали о тех годах как о лучшем времени жизни.

— Я очень жалею этих людей. На фронте были свои достоинства, какая-то раскованность, возможность сказать правду в лицо, себя проявить, было какое-то братство. И все, пожалуй. Война учила мужеству и закалке, но закалку и в лагере получали.

А в основном это был ужас и растление душ. И там были люди, которые вспоминают лагерь с удовольствием. Сидела с моей матерью одна женщина. И потом, когда встречались каторжанки, говорили о прошлом, о кошмарах лагеря, она счастливо вспоминала: «А помнишь, как жили дружно, как я вам супы разливала? Вот было время!».

Я хотел сказать другое. Когда я отправился на фронт, во мне бушевала страсть защищать, участвовать, быть полезным. Это был юношеский романтизм человека, не обремененного заботами, семьей. Я не помню, чтобы простой народ уходил на фронт радостно. Добровольцами уходили, как ни странно, интеллигенты, но об этом мы стыдливо умалчиваем до сих пор. А так война была абсолютно жесткой повинностью. Больше того, рабочие, как правило, были защищены лирами всякими, потому что нужно было делать снаряды. А вот крестьян отдирали от земли.

Аппарат подавления функционировал точно так же, как раньше, только в экстремальных условиях — более жестко, более откровенно.

Я, помню, написал один материал военный: войну может воспевать либо человек неумный, либо, если это писатель, только тот, кто делает ее предметом спекуляции. И поэтому все эти повести и романы наших военных писателей я не могу читать, я понимаю, что они недостоверны. Редко кто бывал достоверным. Люди придумывали свою войну и себя в ней.

На фронте у меня были хорошие и милые друзья. Потом случилось, что я нашел самого близкого из них и ему написал. Оказалось, что он работает директором школы... Я писал письма: а помнишь, а помнишь... наконец он мне радостно сообщил, что едет в командировку в Москву. Это был 57-й год, перед фестивалем молодежи. Я был такой счастливый, я так нервничал. Наконец он приехал, мы с ним встретились, он купил водки, я закуски, начали выпивать и разговаривать, передо мной сидел другой человек. Я постепенно скисал, скисал. Мы все допили, он уехал, и я его больше не видел. Он мне писал несколько раз. Видимо, он что-то почувствовал. Потом стала появляться критика против меня с начала 70-х годов, тут он написал мне письмо, что поделом тебе, пишешь всякое говно, неправильно... И на этом все кончилось. Это был самый близкий товарищ, а остальные как-то разлетелись.

— Вас связывало только прошлое, оно ушло, и все?..

— Во-первых, только прошлое, во-вторых, только

очень узкая сфера деятельности... Но у меня с ним было нечто общее, духовное. Он любил стихи, и мы с ним по ночам читали стихи друг другу потихонечку. Однажды нас загнали в какой-то темный барак, и вдруг я слышу: в уголке вполголоса кто-то романс поет. И я запел ночью громче и почувствовал, что он весь вибрирует от счастья, что кто-то есть, кто может поддержать. Тут вдруг лейтенант какой-то ворвался и закричал: кто тут пессимизм разводит? Прекратите! И мы на этой почве как-то сошлись.

— И потом он со временем превратился в этого лейтенанта?

— А он и был таким, одно другому не мешало. Он Сталина оправдывал, Сталин — это наша сила, а мне этот герой был чужд совершенно. Позже этот друг прочитал Школяра, был возмущен, потому что его интересовал героизм советских воинов, а там, черт-те что там было. У него уже выработалось то, что было, а писать-то надо то, что надо. Проще, поражения — все это умалчивается. В русско-японской войне нам наложили по первое число. Нет, выступает муж и говорит: ну, может быть, в целом войну проиграли, но отдельные-то сражения блистательно выигрывались нашими войсками. Финскую кампанию, по существу, мы тоже проиграли. Никто же об этом не говорит.

А теперь особенно. Прошлые 60 лет вообще превратились в ложь. В зале Чайковского поэтический вечер. Я выхожу, читаю стихи против Сталина, против войны, и весь зал аплодирует (это я, к примеру, говорю). Потом выходит Андрей Дементьев и читает стихи о том, как славно мы воевали, как мы всыпали немцам, так пусть они знают свое место, пусть помнят, кто они такие, и зал опять аплодирует.

Мало кто думает о том, что немцы сами помогли Советскому Союзу себя победить: представьте себе, они бы не расстреливали, а собирали колхозников и говорили им — мы пришли, чтобы освободить вас от ига. Выбирайте себе форму правления. Хотите колхоз — пожалуйста, колхоз. Хотите единоличное хозяйство — пожалуйста. На заводах то же самое — делайте свою жизнь. Если бы они превратили наши лозунги в дело, они могли бы выиграть войну. У них была, конечно, жуткая ошибка с пропагандой. Своей исключительной жестокостью они спровоцировали народный гнев. Та же самая ситуация была и с Наполеоном, он же вошел в Россию, и сразу были брошены прокламации, что он идет освободить русское крестьянство от рабства. Что сделал русский крестьянин? Он тут начал резать своих помещиков и понес продовольствие... Но потом Наполеону подсказали, что он император и что русский крестьянин уничтожает дворянство. Это не совсем правильно, и они тут же отметили свое решение. Тут русский крестьянин взял вилы и пошел бить французов.

Но системы у нас похожи. Абсолютно две одинаковые системы схлестнулись. Они поступали точно так же, как поступали бы и мы. И в этом их ошибка. Просто наша страна оказалась мощнее, темнее и терпеливее.